

Со сцены – в жизнь

Во Дворце Культуры им. Кирова, что в Гавани на Васильевском, рядом с которым я вырос и в котором провёл немало времени, участвуя в работе разных кружков, на вечерах и танцах, продолжалась обычная жизнь. Группа энтузиастов-театралов собралась на очередную репетицию. Недавно приступили к работе над новой тогда пьесой - и в сущности даже не пьесой, а драматической поэмой Михаила Светлова „Двадцать лет спустя“. Как всегда, пьеса появилась в кружке как-то неожиданно, и принесла её Наталия Фёдоровна Ольденбург, эта чудесная женщина, руководившая кружком. И пьесу эту никто из кружковцев никогда до этого не видел и даже не читал. И не ставил её ещё ни один театр в Ленинграде. А ведь это значило прокладывать свой, никем не изведанный путь! Это значило творить. За плечами маленьких актёров - а это были ученики старших классов - было уже немало сыгранных ролей. Только здесь, в кружке Наталии Фёдоровны, были поставлены „Шёл солдат с фронта“ Катаева, „Скупой“ Мольера, „Снежная королева“ Шварца, „Вильгельм Тель“ Шиллера, большая чеховская программа.

За новую пьесу взялись, как всегда, с огоньком. Читали, спорили, делали пробы на роли. Стал вырисовываться состав исполнителей. Наконец все были на своих местах, осталась вакантной одна только роль - роль красноармейца Коля. Искали подходящего исполнителя, а пока на репетициях подменял то один, то другой.

Так вот, во время очередной репетиции в первых числах февраля 1941 года неожиданно открывается дверь, и входит в зал молодой парнишка, лет двадцати, юноша ещё совсем. И забывают все сразу о репетиции. Вскрикивают с мест ребята, окружают пришельца, жмут ему руки. Шум, вопросы со всех сторон, радостный смех и снова вопросы...

- Здравствуй, Роберт! - протягивая руку вошедшему и приветливо улыбаясь, говорит Наталия Фёдоровна. - Как ты тут очутился? Надолго ли к нам?

- Совсем, Наталия Фёдоровна! Демобилизовался я! - отвечает Роберт, присаживаясь к руководительнице. - Отвоевался, как говорится!

- Хо-о-о! Значит, играть будешь! - снова загалдели ребята. - Наталия Фёдоровна! Так это же Коля! Он Колю играть будет!

Вот так я и стал Колей, потому что Роберт - это я. Не правда ли, любопытно! Ведь точно как у Михаила Светлова:

„... Кто сыграет Атоса?.. Нет Атоса. Входит Коля... Видно, что он вернулся из похода...“

- Атос! Коля! Ты будешь играть Атоса!..“

Я вернулся почти из похода: третьего февраля демобилизовался в военкомате Свердловского района и вот пришёл в свой кружок, к своим ребятам, почти домой...

Кто из нас в детстве, в школьные годы не увлекался хоть чуточку театральным искусством? Кто не пробовал прочесть на вечере какой-нибудь знаменитый монолог или декламировать Маяковского? Как почти каждый из нас собирал когда-то почтовые марки и этикетки от спичечных коробков, так многие из нас пробовали свои силы, образно выражаясь, на театральных подмостках, участвуя в самодеятельных спектаклях, драматических кружках и концертах.

Театр я любил давно, но в себе никаких актёрских способностей не обнаруживал. И „актёром“-то я стал в сущности совершенно случайно. А было это так.

Летом в пионерском лагере, когда я уже перешёл в десятый класс и давно перестал быть пионером, драматический кружок ставил популярную тогда пьесу „Пограничники“. И тут оказалось, что нет исполнителя на крохотную роль следователя иностранной разведки. Наши заядлые театралы после долгих поисков пришли наконец ко мне. Просили, уговаривали, и я согласился, скрепя сердце. Поставили пьесу. И прошла она, как нам казалось, с огромным успехом. Похвалили и меня, хотя, признаться, особых причин к тому и не было.

Пришла осень. Вернулись мы в город. И вдруг кому-то пришла на ум мысль восстановить наш спектакль. Восстановили и ставили много раз. И я увлёкся игрой не на шутку. В заключительный раз ставили мы нашу самодеятельную корявенько сделанную пьесу перед детским театральным клубом Василеостровского района, который располагался в красивом особняке на 4-й линии.

И тут я впервые увидел Наталию Фёдоровну. Это именно она была инициатором создания, руководителем и неутомимым организатором этого клуба. Было ей в то время лет сорок пять - сорок восемь. Когда-то она получила педагогическое и театральное образование. Были ли у неё близкие или далёкие родственники - я не знаю. Не было у неё детей, может быть, и замужем она никогда не была... И вот она посвятила всю свою жизнь до самых последних дней чужим детям. Эта удивительно культурная женщина, с громадным опытом педагогической работы, больше всего на свете любила театр и детей, и эту свою необыкновенную любовь к театру она передавала детям. Многие из её учеников после школы навсегда связали свою жизнь с театром. Её детский клуб и ставил перед собой задачу привлечь к театральному искусству учащихся, привить им любовь к театру, научить понимать и ценить.

Театральный клуб был местом встречи участников драматических кружков различных школ, здесь же бывали и выступали бывшие воспитанники Наталии Фёдоровны - актёры и студенты театральных училищ. Лучшие спектакли художественной самодеятельности школ выносились на суд театрального клуба. И мы всегда чувствовали особую ответственность, выступая на этой сцене, потому что в зале был необычный зритель, понимающий и очень внимательный. Часто на такие спектакли приглашали Леонида Фёдоровича Макарьева, одного из основателей Ленинградского ТЮЗа, талантливого режиссёра и актёра.

Когда стихали аплодисменты после окончания спектакля, занавес снова раскрывался. На сцену вытаскивали стол, стулья, скамейки. На председательское место садилась Наталия Фёдоровна, места в правой части сцены отводились участникам спектакля, частью ещё в гриме, в костюмах. Начиналось обсуждение.

На сцену один за другим выходили маленькие критики. Одни из них обстоятельно и спокойно по пунктам разбирали постановку, другие горячились, с жаром что-то доказывая, размахивали руками. А Наталия Фёдоровна сидела за столом, серьёзно и внимательно вслушиваясь в выступление очередного оратора, поправлявшего то и дело непослушный чуб на голове. Она делала себе пометки карандашом в раскрытой перед ней тетради. Но вот лицо её внезапно оживлялось, в уголках рта появлялась затаённая улыбка, карандаш переставал писать и, забывшись, начинал чуть слышно постукивать как бы в такт словам и мыслям юного искусствоведа, что-то цитирующего с измятого клочка бумажки, только что с трудом обнаруженного в одном из своих многочисленных карманов.

Но не только выражение безобидного веселья можно было прочесть на лице Наталии Фёдоровны. Глаза её загорались необычным блеском, как-то торжественно сияли они, и казалось, что излучают они чувство затаённой гордости, скрытой радости за своих воспитанников, этих юных театралов, которые здесь так метко и правильно говорят об игре актёра, о раскрытии образа, так серьёзно спорят. Но обсуждение подходит к концу. Наталия Фёдоровна выступает последней, подводит окончательный итог. Её высокая сухощавая фигура так знакома нам, строгое платье, которое кажется всегда слишком просторным для неё, немного угловатые жесты, такое живое, близкое нам лицо.

И речь Наталии Фёдоровны, страстная такая, одухотворённая, захватывала всех в зале. Она говорила о значении пьесы, её авторе, о том, как удалось исполнителям раскрыть идею. С большим тактом говорила она о недостатках, особенным профессиональным чутьём выделяла из общей среды наиболее талантливых.

Такой я увидел её впервые, такой запомнил на всю жизнь. Эта наша первая встреча не только дала мне понять, как мало я ещё знаю, понимаю в театре, как куце выглядит моя роль, в которую я сам-то уже чуть не влюбился. Нет, критика не оттолкнула меня. Меня ещё больше потянуло на сцену. И, несомненно, Наталия Фёдоровна сыграла в этом немалую роль.

Спустя некоторое время я узнал, что при нашем Дворце Культуры им. С. М. Кирова организовался театральный кружок - заметьте, не просто драматический, а именно театральный, - которым руководила Наталия Фёдоровна. Наши „ветераны“ сразу же туда записались. Приглашали и меня, но я не решился.

Однажды на вечере кружковцев детского сектора новый кружок показал нам театрализованные шарады. Эти маленькие сценки были поставлены настолько интересно, настолько живо и непосредственно, что зрители восторженно встретили их весёлым смехом и аплодисментами. Никому и в голову не приходило, что текста никакого вообще никем написано не было, что были это хорошо продуманные этюды, целиком построенные на импровизации исполнителей.

Наталия Фёдоровна за короткий срок сумела проделать громадную работу с новой группой своих воспитанников. Они уже начали работу над пьесой В. Катаева „Шёл солдат с фронта“, а шарады придумали и разучили за несколько репетиций. Я был просто поражён, удивлён, восхищён и тут же решился идти в кружок. Приёмные испытания я выдержал и был зачислен в „труппу“. Пошла интересная и увлекательная работа. У Наталии Фёдоровны были свои методы и свои особенные задачи. За год ставилась одна крупная серьёзная вещь и что-нибудь помельче. Основную пьесу мы, в полном смысле слова, изучали.

Сперва пьесу читала сама руководительница, потом чтение повторялось в ролях. Затем пьесу обсуждали, разбирали. И я заметил, что пьеса, на первый взгляд скучноватая, мало понятная, как правило, почти или вовсе незнакомая, потом становилась такой близкой, такой нам знакомой. Мы глубоко сживались с ней, с её героями. Даже переставали называть друг друга собственными именами. Занятия всегда проходили живо, много места уделялось этюдной работе. Наталия Ольденбург вырабатывала в нас привычку внимательно слушать партнёров.

Никогда мы не играли под суфлёра. Любой из нас мог выпутаться из сложнейшей ситуации, возникшей на сцене по ходу спектакля. А чего только не случается за кулисами! Там, в зрительном зале, об этом мало что известно. Незаметно заучивались роли. Появлялся художник. Приносил эскизы декораций и костюмов. Всё это просматривалось, утверждалось, отвергалось, корректировалось. Нужна была музыка - приглашали концертмейстера, даже композитора, были в пьесе танцы - не обходились без балетмейстера.

Пьеса начинала вырисовываться целиком и полностью. Приходили последние репетиции, последние замечания и поправки.

И наконец настал день премьеры. Теперь уже к нашим услугам были и костюмеры, и настоящие гримёры. Есть среди нас и помощник режиссёра, и ответственные за реквизит, ну словом, всё как в настоящем театре. А у Наталии Фёдоровны особенно много забот. Её художавая фигура мелькает то там, то здесь. Последний звонок. По местам! Занавес!..

Наталия Фёдоровна спешит в зрительный зал. Там, за кулисами, за сценой кипит своя, невидимая и неслышимая жизнь. А на сцене, для зрителя - другая. Наталия Фёдоровна внешне уже спокойна - помощники её не подведут!

Наши спектакли зрители встречали восторженно, может быть, потому, что все мы, начиная от Наталии Фёдоровны, вкладывали в них все свои силы, всю свою душу. Ставили мы каждую пьесу много раз. И у себя дома, на большой сцене Дворца Культуры, и в клубах близлежащих заводов, и в школах. Выезжали, помню, даже за пределы района. Замечательный коллектив нашего кружка из года в год становился всё дружнее и сплочённее. Во Дворце было, собственно, три таких кружка: старший - наш, средний и младший. В младшем были ещё совсем клопы, но как они поставили в своё время „Вильгельма Теля“! Это надо было видеть собственными глазами.

Но время шло, я закончил десятый класс. Пришла пора прощаться с кружком, с товарищами по сцене. Я поступил в университет, хотя Наталия Фёдоровна не раз задавала мне вопрос: - Почему ты, Роберт, не хочешь идти в театральный институт?

Снова наступила осень, а с ней и занятия в университете. Во Дворце опять собирались кружковцы, и предложила им Наталия Фёдоровна „Скупого“ Мольера. Это было по-серьёзней! Как-то раз, возвращаясь с занятий, я встретил Наталию Фёдоровну. Остановились, разговорились.

- Роберт, а ты приходи к нам на занятия! - сказала она мне на прощанье. - И Витю Шниторова прихвати с собой. Оставайтесь в нашем кружке!

И мы пришли, я и мой бывший одноклассник Виктор, который занимался теперь на филологическом факультете университета. Нас встретили приветливо и радушно, как будто мы и не оставляли кружка.

Мне с Сашей Клемантовичем, о котором я уже упоминал в связи со школьным балом-маскарадом и который стал потом заслуженным деятелем искусств РСФСР и главным режиссёром Дзержинского государственного Драмтеатра им. XXX-летия Ленинского комсомола, досталась главная роль Гарпагона-скупого.

Началась работа над пьесой, над ролью. И тут меня призвали в армию, началась Финская война. Ребята писали мне о своей работе. Прислали программу с премьеры. На ней была дата: 27 апреля 1940 года. И только в феврале следующего, тысяча девятьсот сорок первого года, я опять оказался в кружке.

Я снова окунулся с головой в работу над ролью Коли, над пьесой „Двадцать лет спустя“. А уделяли мы пьесе, как и прежде, много времени. Работали с любовью, сживались со своими героями, страдали и радовались вместе с ними, репетировали, спорили, переделывали.

Драматическая поэма... Как жаль, что прошло так много лет, и каких лет! В памяти уже почти не сохранилось деталей, многое уже позабыто...

... Гаснет свет в зрительном зале. Раздвигается занавес в полной темноте. За ним - экран. Постепенно, как бы из далёкого прошлого на полупрозрачном полотне из мрака высвечивается картина. Сюжет её связан с содержанием следующего действия. Рисунок сам выполнен нашим художником, а затем переведён на диапозитив и проектируется на экран через проекционный фонарь. Луч прожектора выхватывает из темноты фигуру стоящего в стороне на краю сцены Налево, комсомольца-поэта из пьесы. Он, обращаясь в зал, читает свои стихи. Пролог закончен. Постепенно снова гаснет свет, и уже по Светлову слышится приглушённый звук трубы, как бы из прошлого... Начинается действие.

Так оформлялось начало каждого действия. Основные роли, как это было принято у Наталии Фёдоровны в предыдущих её постановках, у нас дублировались. Такая система не только гарантировала от всяких случайностей, непредвиденных порой, но и помогала выдвигать новые силы. Итак, работа наша подходила к концу. Постановка обещала быть интересной. А нас пьеса снова захватила с головой, целиком и полностью, и казалось, что лучше её и придумать нельзя...

Премьера должна была состояться во дворце пионеров Свердловского тогда района, на Большом пр., на углу 17-й линии. Всё было готово. Были отпечатаны и розданы программы и пригласительные. Премьера была назначена на **воскресенье 22 июня ...**

Накануне вечером у нас состоялась последняя, генеральная репетиция в костюмах и на декорациях. Она затянулась далеко за полночь. Все устали и проголодались. Помню, как послали нас с Галей Погорельской в дежурную булочную перед самым её закрытием за разной снедью - были мы как раз свободны. А потом все поочерёдно жевали, сидя в последних рядах полутёмного зала. Наталия Фёдоровна сидела где-то впереди, следила за действием, изредка делала последние замечания. В перерывах между картинами торопила ребят с переменной декораций, громко хлопала в ладоши, призывая к тишине сидящих в зале свободных от игры исполнителей. Она тоже устала, нервничала и волновалась за своё новое детище...

Утром я долго не вставал, отсыпаясь за вчерашний вечер и перед новой премьерой. Радио было выключено. Только часам к 11 до меня докатилась чудовищная весть:

- ВОЙНА!..

Я спал ещё, когда пришла мама.

- Ну что, слышали новость? - сказала она, входя в комнату.

- Какую? - поинтересовался я.

- Война с Германией!

Я привскочил на кушетке, заменявшей мне кровать. Сон моментально улетучился.

Оказалось, что Германия без предупреждения нарушила государственную границу, разбила наши пограничные заставы и уже бомбила ряд крупных городов. Утром с речью по радио выступал Молотов.

Я выскочил из-под одеяла, минуту одевался, минуту умывался и был готов идти к маме. Не завтракая, я пошёл с ней. На улице светило то же солнышко - в Ленинграде ещё была весна - те же ребятишки с криком бегали по двору, во что-то играя, те же хозяйки не спеша шли из магазинов, тот же дворник с метлой возился у панели. Кажется, ничего и не произошло. Жизнь текла обычным путём. И странно было думать, что там, где-то далеко рвались фугасные бомбы, разрушая дома, калеча людей, там, далеко у наших границ, шёл жестокий бой, умирали сотни застигнутых врасплох людей. Как-то не укладывалось в голове, как люди могут быть так ужасно жестоки в такой замечательный день, когда вся природа дышала миром и покоем.

Дома у родителей все с утра были на ногах, уже несколько раз слушали речь Молотова. Горячо обсуждалось создавшееся положение. Андрей Дудинов сразу же предложил мне велозксурсию по городу. Я согласился, и мы поехали. Андрей ехал впереди, выбирая маршрут. Мы проехали Большой проспект, свернули на Набережную, через Республиканский мост переехали Неву, потом доехали до Литейного проспекта и по нему выбрались до Сенной площади. Улицы были по-воскресному полны народу.

Город по-прежнему шумел автомобильными гудками, звонками трамваев и велосипедов. Регулировщики в белых перчатках так же не замечали терпеливо ожидающих сигнала велосипедистов у края тротуара. Потоки людей спешили вдоль зеркальных витрин магазинов. Продащицы „эскимо“ сновали среди пешеходов. Я оглядывался по сторонам и не замечал ничего необыкновенного. Где же война? Да может быть это просто сон? Но вдруг голос из репродуктора на стене возвестил:

- Передаём речь товарища Молотова!

Андрей соскочил на асфальт, я затормозил. Мгновенно на тротуаре образовалась толпа. Остановилась „эмка“. Толпа росла и загрохотала улицей. Затихли разговоры, сотни напряжённых лиц обратились к серому рупору на стене.

Молотов говорил о вероломном нападении немцев, о бомбардировках мирных городов, о разрушениях и жертвах. Речь окончена. Городская машина снова зашумела, но теперь этот шум показался мне уже не таким обычным. Нет, эти лица спешивших мимо людей были не такими, как всегда.

Война! Это слово тревожно звучало в ушах каждого. Для некоторых это было новым понятием, знакомым только из книг и патриотическо-фантастических кинофильмов, другим рисовались грязные окопы империалистической войны, артиллерийские обстрелы и канонады, голод гражданской войны, вшивые блиндажи, тиф, убитые отцы, братья и мужья, у иных матерей с болью сжималось сердце при мысли, что сын служит где-то у границы. И все ждали мобилизации...

Во второй половине дня мы, кружковцы, вместе с нашей Наталией Фёдоровной как-то стихийно, ни с кем не договариваясь, собрались во Дворце Культуры. То, что спектакля не будет, нам уже всем было ясно. И получилось-то это как-то само-собой, что пришли мы все именно сюда и собрались вместе и говорили об одном волновавшем нас вопросе: что же нам теперь делать, что мы д о л ж н ы делать.

Наталия Фёдоровна сумела всё разузнать и организовать. Дворец Культуры им. Кирова должен был стать госпиталем. И когда это стало известно, она заявила нам:

- Ребята! Завтра с утра одевайтесь по-рабочему и приходите сюда.

Так, начиная со следующего дня, чуть ли не до середины июля, если не изменяет память, все мы - разумеется, кто был свободен - целыми днями пропадали во Дворце, даже домой на обед не всегда ходили, а наспех обедали в столовой. И везде с нами была впереди наша удивительно энергичная, зажигающая нас своим примером, самоотверженно работающая с нами на любой работе Наталия Ольденбург.

Много дней подряд мы перетаскивали мебель, инвентарь, книги в помещения за кулисами театра. Дворец сворачивался. Потом получали и расставляли новое госпитальное оборудование. Во дворе мы отрыли множество щелей и убежищ. Короче, мы делали всё, что от нас требовалось.

После трудового дня мы часто играли в садике перед детским сектором в волейбол, на площадке, скрытой молодой зеленью деревьев и кустарников. И вот однажды, когда мы по обыкновению собрались в садике, к нам пришла Наталия Фёдоровна. Лицо у неё было необычно радостным и оживлённым:

- Ребята! - сказала она, усаживаясь на садовую скамейку. - У меня для вас радостное известие: нам разрешили ставить нашу пьесу!

Сообщение это было встречено шумно и восторженно. А поставить пьесу нам разрешили, понятно, не случайно. События в ней так перекликались с нашей действительностью тех дней! Она звучала тогда удивительно актуально...

... Гражданская война. Войска Антанты захватили южный городок на Украине. В городе остаётся комсомольское подполье. Под видом самодеятельного драматического кружка, который ставит пьесу по Александру Дюма „Двадцать лет спустя“, в оккупации собирается комсомольская ячейка. Она действует, борется... Не всем удаётся дожить до победы. Погибают и Коля, и Дуня, которую исполняла удивительно подходящая для этой роли по внутреннему складу характера Наташа Триодина...

Страна вот-вот услышит о подвигах молодогвардейцев! И тут наш спектакль!

Мы с энтузиазмом принялись восстанавливать нашу работу. А сделать это было чрезвычайно трудно. Ушли на фронт Саша Рогов, защищать Ленинград добровольцем Виктор

Шниторов, кто-то уехал на оборонные работы. Появилось много свободных ролей. Стали дублировать, подыскивать новых исполнителей.

Делегация кружка пришла к моему брату Бруно. Упросили и его помочь нам. Он только что закончил весной десятый класс. Репетировали мы тут же на площадке после работы. Сколько затратили энергии, сколько духовных сил вложила Наталия Фёдоровна в эту работу, работу, которой, казалось, не будет конца. Но конец пришёл: пришлось „сложить оружие“ - мы не успевали готовить замены, настолько быстро редели наши ряды. Пьесу поставить так и не удалось...

Ну и что ж? Казалось бы, на этом и следовало бы поставить точку. Написал так много о пьесе, которая так и не увидела свет. Стоило ли? Пьеса не была поставлена на сцене, но ведь герои её сошли со сцены к нам, в нашу жизнь. Не смогли герои Михаила Аркадьевича Светлова ожить на сцене, но зато они продолжали жить в жизни, тут, в осаждённом Ленинграде, они жили, боролись и тоже умирали, только уже не на сцене...

Осенью погиб в ополчении ленинградцев наш товарищ по кружку, тихий, удивительно сердечный, незаметный какой-то Виктор Шниторов. Это был своеобразный Моисей по пьесе. Их что-то роднило - светловского Моисея со сцены и нашего, Виктора-Моисея из жизни...

... В госпиталь стали поступать раненые. Те, кто из нас ещё оставались в городе, подали заявления с просьбой принять нас добровольцами-санитарами и санитарками. Нам с братом и Гале Погорельской в просьбе отказали - мы были немцами, она - полячкой.

Милые хорошие наши друзья! Как старались вы смягчить этот удар для нас! Мы же все росли в советской школе, в одном - едином коллективе. Мы не понимали тогда, что такое национальная рознь в социалистическом обществе. Мы, конечно, были тогда интернационалистами.

Не теми, конечно, что потом пытались захватить Афганистан, прикрываясь опять этим фиговым листком. На фига такие интернационалисты-захватчики нужны миру!

Вечером восьмого сентября после большого перерыва, вернувшись с оборонных работ на учёбу (мы учились! - сегодняшнему человеку этого вообще понять невозможно. Фашистские войска вступили в пригороды Ленинграда, ежедневно город часами бомбился с воздуха, а мы учились!), я вновь повстречался с некоторыми из наших кружковцев в квартире Наталии Фёдоровны. Было нас там человек шесть-восемь. Дело в том, что ребята продолжали время от времени собираться там. Хотя уже больше не было ни кружка, ни пьесы, ни даже надежд на их восстановление.

Мы рассказывали друг другу о своих делах, о жизни, о друзьях, которых не было с нами. Руководительница наша, имея диплом сестры милосердия ещё с первой империалистической, работала теперь в одном из госпиталей медсестрой. Ребята были заняты кто где. Некоторые работали на заводах, другие на оборонных работах. А из тех, кто остался в городе, создали такую уж совершенно добровольную команду МПВО в нашем Дворце Культуры им. Кирова.

Воздушная тревога стала для нас обычным явлением и в принципе уже никого не тревожила. Поэтому мы, конечно, не обратили никакого внимания на рёв сирен в этот вечер. Они нашей беседы не прервали. Мы продолжали разговаривать до сигнала отбоя, после этого собрались домой.

На улице стоял великолепный осенний вечер. На голубом небе ярко сияло солнце на западе. Это был тихий ясный... Постой! А что означало это грозное грозное облако на юге? Мы помчались на набережную Невы - тут всего-то было пару сот метров - сердце тревожно стучало: там, по ту сторону Невы, вздымалась мощная чёрная дымовая туча. Нет, это не была гроза. Это был гигантский пожар - от зажигательных бомб.

Чёрный дым перемешивался с языками пламени, которые вздымались над крышами. Море огня вдали. И казалось, что к небу тянулись в отчаянии человеческие руки, горящие и сгоравшие в небесах. Нам стало понятно, что происходит что-то ужасное.

Поздно вечером вернулся с работы отец домой - он случайно оказался свидетелем этого воздушного налёта. Фашисты подожгли крупнейшие продовольственные склады города, Бадаевские. Сгорали сахар, масло, мука... Практически, склады были уничтожены, а с ними и огромные запасы продовольствия.

После войны я читал, что высота столба дыма достигала шесть-семь километров, как раз столько, сколько достигает грозное облако. В той же послевоенной литературе, как мне кажется, всячески старались уменьшить урон, принесённый этим пожаром, - так же как и

количество жертв в блокаду - чтобы снять ответственность с бездумных безалаберных руководителей, не сумевших во-время рассредоточить продовольственные запасы по мелким базам.

Теперь, вернувшись в город на учебу, я дежурил через сутки в команде МПВО университета. Понятно, свободного времени совсем не оставалось, если ещё учесть и учёбу. Но всё же однажды вечером брат увёл меня на дежурство во Дворец.

В маленькой комнатухе где-то за кулисами театра ребята оборудовали себе „дежурку“. Выбор мебели был велик: всё ведь было в нашем распоряжении, всё, что было вывезено и наставлено на сцене и за сценой театра, когда Дворец свернулся в госпиталь.

Наши девушки, наши замечательные девчата сумели создать маленький раёк в этой затерявшейся гримёрной. Притащили огромный ковёр, диван, бархатные банкетки из Мраморного зала, поставили несколько цветов и пальм, устроили гардероб, кто-то притащил патефон, достали пластинок, окна замаскировали.

К вечеру собирались на дежурство. Кто мог. После работы, после других дежурств. Собирались в этот тихий, уютный, даже какой-то странно-необычный в то время уголок. Сидели на диванах, разговаривали, слушали патефон и даже танцевали. Чего уже сегодня и представить-то трудно.

А потом внезапно под звуки сирены надевали на себя кое-какую одежонку на этот случай, противогазы и спешили по бесконечным лестницам на крышу...

Кто из нас, ленинградцев, не бродил по Неве! Да и иностранцев там всегда полно летними вечерами, белыми ночами и даже в осенние дождливые дни. Если взглянуть на Неву с площади у подножия Исаакия, где на вздыбленном коне застыла фигура медного всадника, на гранит её набережных по ту сторону, то перед Вашими глазами предстанет величественная панорама исторических зданий: Петровская Кунсткамера с ажурной башенкой, здание Академии Наук с белоколонным портиком, университет, дворец Меншикова, Академия Художеств. Всё это немые свидетели глубокой старины и памятники истории города. Крупные архитекторы создавали их.

Присмотритесь внимательно к зданию университета напротив Вас. На красно-кирпичном корпусе внутри двора Вы заметите неприметную башенку с плоской крышей. Ещё в шестидесятых годах здесь стояла скромная деревянная будка. Вряд ли кто знал, что и это неказистое сооружение - памятник истории города, переживший блокаду. Не сохранились имена безвестных защитников Ленинграда, сколотивших из досок и фанеры суровой поздней осенью 1941 эту будочку на крыше башенки. Да и будочка-то сама не сохранилась.

А был здесь всю войну наблюдательный пост команды МПВО университета. Днём и ночью, в метель и дождь, в мороз и туман, голодные и насквозь промёрзшие, мы были на посту. И я не помню, не знаю такого случая, чтобы пост был пустой.

Три долгих месяца, пока хватило сил, через сутки я шёл на дежурство на вышку.

Вот они передо мной: пожелтевшие от времени листочки, страницы жизни, записи военных лет. И как живые, с них снова вырастают в памяти моей образы прошлого, картины блокадной осени.

В широком тулупе прохаживаюсь я по вышке. Начинает смеркаться. Тяжёлые тучи нависли над городом, заволакивая купол Исаакия напротив и шпиль Петропавловки слева. Моросит мокрый снег. Вечерняя дымка затягивает постепенно очертания далёких крыш. Город погружается во мрак. Внимательно всматриваюсь в темноту. Сейчас, с вечера, важно проверить светомаскировку. Мы уже давно привыкли ориентироваться в темноте. Так что и попадания бомб в случае налёта можем определять сравнительно точно, а также места возникновения пожаров. Можем засечь и сигнальную ракету, выпущенную рукой предателя. А сейчас - вон мелькнул свет! - это где? Здание исторического факультета, третий этаж. Звоню в штаб. Через несколько минут свет в окне гаснет - меры приняты. А это что за искры вдали валят из трубы? А! Кто-то печь затопил. Это в здании физического института. Опять сообщаю в штаб. Вроде всё в порядке.

Зловещая напряжённая тишина. Притаились фашисты, выжидая удобной для нападения минуты. Молчат зенитчики где-то подо мной у Биржи и на площади Декабристов напротив за Невой. А время ползёт нестерпимо медленно. Пройдя последний круг по площадке, сажусь на

стул в центре. В октябре будки ещё не было, не было и крыши над головой. Осколки зенитных снарядов сыпались с неба беспрепятственно.

Укутав ноги вторым тулупом - у нас их на вышке было два - втягиваю голову в поднятый воротник, оставляя только небольшую щёлку для глаз. Стараюсь о чём-то думать, чтобы скоротать время. Складки моего тулупа заполняются снежком. Лёгкий ветерок доносит до лица мокрые снежинки. Меня начинает заматывать. Вставать не хочется, вряд ли в такую погоду будет налёт. Незаметно клонит в забытье. Начинаю дремать.

Резкий вой сирены вырывает из забытья. Очнулся моментально. Вскрываю со стула и начинаю ходить по вышке, напряжённо всматриваясь в темноту и прислушиваясь к ночным звукам осаждённого города.

Справляются из штаба. Пока всё спокойно. Звуки сирен уже замолкли, и тишина стоит теперь ещё более зловещая, грозная, жуткая. Только метроном равномерно где-то тукает вдаль. Это было введено для того, чтобы можно было убедиться, что трансляция включена.

Зенитки! Зенитки на западе заговорили! Канонада приближается, передаётся от батареи к батарее. Высоко-высоко слышится лёгкое жужжание. Вот они, носители смерти и разорения. Сегодня низкие облака, а это означает, что бомбить они будут как и вчера - наугад, лишь бы куда-то сбросить с большой высоты. Самолёт перехватывает батарея поближе. Открыли огонь зенитчики подо мной: „Тах-тах-тах!“ „Вззи-ии! Вззи-ии!“ - это скорострельные с Невы. Пальба становится всё оглушительней. А палят-то в облака! Самолёта-то не видно!

На крыши подо мной уже начинают падать осколки. Звенит кровельное железо. Звук самолёта уже где-то в зените. Сейчас... Сейчас... Нарастающий воющий свист возникает прямо над головой. Сверлящий, пронизывающий, проникающий прямо в душу.

Когда-то казалось - конец. Но теперь-то я знаю - это всё кажется, бомба летит дальше, куда-то в центр. Ни снаряд, ни пулю, ни бомбу, которые летят в тебя, ты уже не успеешь услышать. Раз слышишь - значит, мимо. Багряный всплеск, зарево разрыва за площадью Урицкого - тогда так называлась Дворцовая площадь - потом раскат далёкого грома. Чувствую, как мелкой дрожью дрожит площадка.

А в ушах уже новый свист. Глухо удар правее. Штаб на проводе. Теперь уже трубки не выпускаю из рук. А вокруг меня клокочет, как в адском котле. Трассирующие снаряды справа и слева разноцветным бисером прошивают облака, сопровождая невидимые машины врага. Леденящий вой тяжёлых фугасок. Глухие разрывы в центре города.

Внезапно на северо-западе вспыхивает яркий свет. Море света. Будто сотни электросварщиков взяли одновременно за электроды. Фашисты забрасывают Голодай зажигалками. Вот вспыхнула Гавань, потом Петроградская, где-то вдалеке в стороне Смольного.

Сегодня выброшено несметное количество зажигалок. И горят они так ярко, что моментами хоть газету читай.

Но голубое пламя держится недолго - приспособились ленинградцы справляться с этой дрянью. Свет меркнет, пламя спадает. Только в редких местах становится желтоватым, потом ярко-оранжевым - над городом появляются зарева отдельных пожаров. Вот за Биржей чуть правее через Неву пожар быстро принимает грандиозные размеры. Это американские горы - громадное покрытое деревом и бетоном сооружение в саду Госнардома. Они горят гигантским костром. Говорят, что там ещё и бензосклады какой-то части.

Больше этих американских гор никогда не восстанавливали. Деньги шли на танки, афганскую, а теперь и чеченскую войну. Руководство знало, куда кидать деньги - лишь бы не народу. Теперь, правда, никто уже интернационалистскими лозунгами не прикрывается, напролом прут националисты. Пятьдесят лет тому назад это называлось броским словом „фашизм“.

А враньё процветает пуще прежнего. Министр Грачёв, по грамотности своей не уступающий конникам-будённикам, заявляет, например, что не обученные мальчишки умирают в Чечении с улыбкой на устах... Ради сомнительных целей кучки зарвавшихся старобольшевистских империалистов.

А столб пламени на месте этих американских гор - кстати, в Америке их называют „русскими“! - вырывается в небо, и языки его, кажется, лижут низкие тучи над городом. Снопы искр, целые доски пылающими головнями летят ввысь. Ярко освещён шпиль Петропавловки с ангелом, держащим крест.

Становится светло, как днём, и кажется будто бы теплее. По Малой Неве бегут огненные волны. Снизу на вышку приходит начальство из штаба. Зрелище ужасное. Неудержимая стихия бушует огненным морем.

В бинокль я вижу, как люди пытаются сбить пламя струями воды. Рушится деревянная обшивка, новые языки пламени вырываются к небу.

А налёт уже кончился, прозвучал отбой, люди торопливо расходятся из убежищ и подворотен, спеша домой. А я всё стою на вышке и смотрю на Петроградскую. Смотрю на чудовищный пожар, факелом полыхающий над Ленинградом.

Время смены уже прошло. Это мне ясно, хотя и нет часов. Видно, тревога захватила сменщика в пути. Ночных пропусков у нас нет, значит, смены не будет. Зато у нас неписанный железный закон: вышки не покидать.

Звоню:

- Аллё! Дежурный! Лейнонен - с вышки. Смена будет? Нет? Ну что ж, ладно. В порядке. Остаюсь до утра. Звони почаще, чтоб не закемарил. Пока.

Тяжёлые тучи нависли над городом, моросит мокрый снег, а впереди бесконечная ночь... И даже крыши нет над головой. Это дежурство обойдётся в 16 часов. Сейчас читаешь - и в голове не укладывается. Но это не придумано - у меня подлинные записи перед глазами.

А через сорок пять лет в Ленинграде не прописывали. А прописали сквозь слёзы - не давали жилья: для получения такового требовалось десять лет постоянной прописки. Это, якобы, постановили коренные ленинградцы, наводнившие опустевший блокадный Ленинград после войны.

Так меня два часа в тысяча девятьсот восемьдесят восьмом году убеждали в Горкоме партии, доказывая мне, что меня из Ленинграда вообще никто и не выселял - просто я эвакуировался. Уж не из этих ли коренных ленинградцев был секретарь Ленинградского Обкома КПСС Григорий Романов, который мне наотрез отказал в помощи на мою просьбу разрешить вернуться в Ленинград в конце семидесятых?

Моя первая жена, потрясённая наглостью ответа, без моего ведома, проревев весь вечер, настрочила в Обком ответ, которого даже мне не дала прочесть. А потом Романов, претендовавший на пост Генерального после смерти Черненко, вылетел со своих постов на пенсию пинком Горбачёва под зад, успев справить свадьбу своей дочери в Таврическом дворце с использованием музейных сервизов Эрмитажа, несмотря на протесты Пиотровского, тогдашнего директора Эрмитажа.

Мой сын, работавший в восьмидесятые годы в Тресте „Главинженерстрой“ и участвовавший в ремонтных работах на дачах высших партийных превосходительств, случайно собственными глазами видел, как этого алкоголика, секретаря Обкома, выволакивали из машины на его личной даче в мертвецки пьяном состоянии.

Кстати, эту личную дачу позже перестроили в пансионат. Каков же, простите, был её размер? И сколько же стоило почтенному коммунисту Романову, а точнее, русскому народу, её строительство и содержание? Ему-то, конечно, нуль.

Эти товарищи построили себе коммунизм чуть раньше, чем остальным рядовым партийцам. И сегодня они продолжают жить в этом же самом коммунизме. И чтобы продолжать в нём жить, превращают цветущий город Грозный в современные руины Сталинграда и уже полтора года гробят российских пацанов в бесперспективной и бессмысленной войне.

С начала блокады прошло уже несколько месяцев. Скованный железным кольцом гигантский город постепенно замирал. Грохотали снаряды, рвались ужасной силы бомбы, над городом полыхали пожарища, ленинградцы доедали последних кошек, люди падали на улицах города и больше не вставали.

Вместе с костлявой рукой голода по квартирам стал пробираться жестокий мороз. Нас всё больше и больше покидали силы. Забраться на вышку становилось всё труднее и труднее. Всем телом наваливались на перила лестницы и руками подтягивались шаг за шагом на добрую сотню ступеней, даже считали про себя. Дух захватывало, сердце останавливалось.

Через день по восемь часов за смену на посту - шестнадцать часов отдыхаешь и снова на восемь часов наверх. А холод стоял собачий. В декабре доходило до минус тридцать градусов. Вот и сидел наверху на крыше, правда, уже в будке, без еды, накинув тулуп на себя - один над заснеженным городом с коченеющими руками и ногами. Внизу на набережной одиноко ползли

крохотные тени по одиночке, затерянные вдоль замёрзшей Невы. Куда? Домой? На работу? И время ползло также медленно, как те внизу. Кто бы мог сказать, который час? У меня же часов не было. Тогда часы были роскошью.

Днём, пока было светло, в бинокль я мог разглядеть часы на Адмиралтействе - они тогда ещё шли. А вот ночью... Да что там, ночью было просто невыносимо. Холод, голод и непреодолимое желание уснуть.

А спать я не имел права. Ни в коем случае. Ну, во-первых, я был на посту, а во-вторых, во-вторых, на этом морозе можно было уснуть и навечно. Тяжёлые веки смыкаются, всплывают какие-то видения, тени, глухой стон - я вздрагиваю и снова просыпаюсь. Стёкла в моей маленькой будке практически не замерзают - внутри так же холодно, как снаружи. Я встаю со своего стула. Неимоверно тяжёлый теперь тулуп прижимает меня к сиденью. Когда-нибудь будет конец? Сколько же человек может вытерпеть? Мне ведь только двадцать, а я почти встать не могу со стула.

В нашей команде к тому времени осталось всего двое мужчин - я и студент с филологического факультета, фамилию его я давно позабыл. Это был черноволосый полутурок-полунемец. У нас у обоих ещё хватило силы до середины декабря. Все остальные были уже...

Да откуда мне было знать? Один за другим они исчезали. Умирали с голоду? Замерзали? Заболели? Или ещё где-то тянули свои дни? И нас ожидала такая же судьба. В этом забеге побеждал последний.

Места выбывших в команде занимали девушки. Они приходили на дежурство парами. Может, боялись в одиночку 8 часов простоять наверху под бомбёжками. А потом пришёл и мой черёд: я уже не в состоянии был пройти путь от дому до наблюдательной вышки и пару раз за дежурство подняться и спуститься с неё. Это уже было сверх моих человеческих сил.

Декабрь перевалил за половину, было тёмное утро. Наступали самые короткие дни года. Стоял жестокий мороз. Две закутанные студентки поднимались ко мне через люк башни.

- Привет! Что нового?

- Ничего. Ночь прошла спокойно. Замерз в доску, - я чуть шевелю губами. Как на ходулях, я спускаюсь с лестницы, потом через двор захожу в штаб и обращаюсь к дежурному:

- Я с вышки. Лейнонен. Вычеркни меня из списка: я больше не могу.

Покачиваясь, неуверенной походкой иду к дверям. Отслужился. Всё - конец. Дома умирает тётя Изабелла. Уже в течение нескольких дней. Тётя Эмилия тоже давно бросила ходить на работу. Она работала в гомеопатической аптеке на Невском, 82 - в доме, где располагался кинотеатр „Октябрь“. У неё уже не было сил ходить так далеко. Но мы боимся лежать в постели: это расслабляет.

Мы ищем себе какие-нибудь занятия, работу по дому. Хотя мои родители живут недалеко от нас, я уже давно у них не был и не знаю, как у них дела. По утрам я натягиваю своё зимнее пальто и иду в булочную за хлебом, за нашей ежедневной нормой 125 грамм хлеба. Этого должно хватить на весь день.

Потом надо заняться дровами. В насквозь промёрзшей кухне уже давно лежит толстая доска, которую я притащил ещё осенью с улицы. Вот её-то я и распиливаю на маленькие кусочки.

В большой комнате, где мы сейчас все вместе живём - все остальные помещения закрыты на замок и насквозь заморожены - стоит буржуйка из листового железа. Здесь на ней варят. Это наша кухня. По утрам кипятки с кусочком хлеба, примерно треть часть порции. У каждого есть своя тарелочка в буфете, где он с утра хранит свою порцию.

Пропустишь чашечку-другую кипятку, чтобы хорошо согреться, а потом в поход за водой. Воду надо брать на первом этаже, где на лестнице есть кран, и потом ступенька за ступенькой тащить половину ведра наверх. В обед тётя Эмилия варит какой-нибудь „супчик“ из остатков каких-нибудь съестных припасов.

Так, например, в этот день из остатков кошачьих кишок, которые остались от последней кошки. Кошку эту мы растягиваем уже долгое время - надо экономить.

Тётушка Изабелла от еды отказывается: - Мне уже больше ничего не надо! Со мной всё закончено. Ешьте, ешьте, пока ещё стоите на ногах!

Ну, а ночи! Бесконечные ночи... До вечера, как правило, хлеб растянуть не удаётся. Последние крошки обычно „незаметно“, в тайне удаётся стянуть со своей тарелочки и засунуть

в рот ещё до вечернего „чая“ (кипятка). Но до самых последних дней мне всё же удаётся громадным усилием воли (чего представить себе невозможно) делить свою норму на три части и трижды в день отведывать хлеба.

Но эта ночь! После кипятка, который мы перед сном с расстановкой смакуем, некоторое время можно спать. А потом... Потом в голову приходят мысли. Они громоздятся в голове и не дают покоя. Сна больше нет. Полная неопределённость. Нарастающая слабость.

...Перед самой войной в доме появилась трансляция, появился репродуктор. А радиоприёмничек куда-то исчез. Видно, погиб в блокаду, как и его хозяйки...

...Голос Левитана... Метроном... Потом почему-то всё замолчало... где-то что-то, видно, порвало... умер репродуктор... Ольги Берггольц я не слышал... Я узнал о ней уже после войны, точнее, даже не узнал - мне о ней напомнили, о детстве на Железноводской. Голос трансляции давно замолк. Провода!.. Провода на крышах, во дворах, в снегу, оборванные провода...

Мы ничего не знаем про фронт, у нас нет никаких газет, только редко до нас доходит какой-нибудь слух, перехваченный утром в булочной. „Тихвин освободили!“, „Генерал Федюнинский обещал скоро прорвать блокаду!“ - между нами говоря, у нас был один „оттуда, из-за кольца“. Полная неопределённость.

Это что, конец? Только не расслабляться, не лежать днём в постели, что-то делать, не опускать руки. Но что? Идти работать? А куда? Могу я это? Нужен я кому-нибудь? 125 грамм хлеба в день - уже целый месяц, да что там - уже больше... Это вообще хлеб - этот маленький, сырой, чёрный, похожий на глину комочек? Это хлеб? Это у Вас называется хлеб?

И вдруг однажды звонок: у нас был механический звонок, а света ведь давно не было. Сколько же времени к нам никто не звонил? Тётя Эмилия пошла открывать дверь и вернулась в комнату - мы от неожиданности чуть не онемели - с Ниной Андреевной Дикевич, нашей соседкой по квартире, которая вошла в сопровождении молодой женщины.

Слово за слово - и тут постепенно всё прояснилось.

Почти всё лето меня ведь практически не было дома: я вернулся с оборонных работ только в начале сентября. Со дня на день тогда ухудшалось питание, сокращались продовольственные пайки, да и выкупить продукты по карточкам не всегда удавалось. Люди стояли в очередях целыми днями без надежды что-либо принести домой.

Между прочим, такая же ситуация сложилась и в эпоху развитого социализма в 1990-1993 годах.

А во дворе стояла промозглая чахоточная ленинградская осень. Именно тогда где-то в очереди Нина Андреевна серьёзно простудилась, и её положили в больницу с воспалением лёгких. Куда к тому времени девался Тобик, её собачка - я уже не помню. Только дома его уже не было. Забрала ли его приятельница Нины Андреевны с хриплым басом, отдала ли она сама его куда-нибудь усыпить - трудно сейчас сказать. Слишком много у нас тогда было своих забот, и о Нине Андреевне - соседке по нашей коммуналке - скоро дома позабыли. Несколько раз к нас заходила та самая „басовитая“ приятельница и рассказывала нам, что Нина Андреевна жива ещё, но состояние её тяжёлое, но потом и она исчезла. Многие тогда исчезали.

И тут неожиданно в конце декабря в сопровождении краснощёкой здоровенной девицы она вернулась домой. Как с того света. Мы, конечно, считали, что в живых её уже давно нет. Катя Агеева - так звали новую знакомую - работала раздатчицей пищи на отделении, где и лежала Нина Андреевна. Как и большинство низшего обслуживающего персонала больницы, она жила в общежитии для одиночек. Кормилась в больнице, даже карточки свои продовольственные не использовала (позже я случайно собственными глазами блокадного ленинградца видел эти непритронутые карточки за октябрь или даже ноябрь месяц. Это было чудовищно!). Ни о каком голоде тогда она, Катя, понятия не имела. Вообще голодала ли она по-настоящему во время блокады - я сегодня не уверен.

Так вот, Катя именно в это время и решила попытаться выбраться из общежития на „частную“ квартиру, пользуясь преимуществами своего служебного положения.

Я не думаю, чтобы придумала она это сама. Старшая её сестра - а всего их было четверо сестёр - повар той же больницы - получила квартиру точно таким же ходом. Правда, об этом я узнал значительно позже. В тот момент думы наши были не об этом. За жизнь люди платили - кто чем мог. И чаще всего впустую. Смерть была сильнее.

Итак, старушку нашу - мадам Дикевич - подлечили, подкормили и не дали ей умереть. За это она прописала на свою жилплощадь Катю, а та привела её домой, как и было обещано. А

дома-то было уже иначе, чем в мирные времена. Даже хуже, чем тогда было в больнице. Несравненно хуже. Трубы замёрзли, вода не шла, уборной пользоваться тоже не могли, свет не горел, радио молчало.

Наша общая единственная жилая комната тепла ради и для светомаскировки была завешана ватными одеялами - я имею в виду, окна. Известно, что ленинградская зима светом не балует, всего на несколько часов уголок одеяла на одном из окон чуть откидывался в сторону и в комнату проникал кусочек сумрачного короткого дня. В остальное время комнату освещала коптилка.

Нина Андреевна была очень слаба, мы поместили её в нашу теперь общую комнату. С постели она практически так больше и не встала. На ноге образовался какой-то нарыв, и вообще она на ладан дышала. Всё это было только ради трюка с пропиской Кати. Но сама-то Катя была, конечно, искренне поражена обстановкой, окружающей нас, постепенно умирающих людей. Такого она ещё не видела.

Когда она украдкой от меня узнала у тётушек, что мне всего лишь двадцать лет, она была чрезвычайно удивлена.

- Что Вы, - сказала она, - да я ж ему за тридцать давала... Умрёт он здесь, умрёт. Спасать его надо, в больницу положить. Завтра я с врачом поговорю. Тут ему крышка.

И я верю в искренность Кати в этот момент. Она просто пожалела молодого парня. Без всяких задних мыслей тогда. И взялась она за моё спасение. И ничем я не мог отплатить ей тогда. И не думала она в тот миг об этом.

Катя с остервенением принялась за уборку. Всё перевернула вверх дном, перемыла, перестирала, навела в квартире порядок и блеск. И только этим самым вдруг подняла дух у всех. Так в склеп врывается струя молодой жизни.

Мы были поражены удивительной энергией этой здоровой молодухи, её жизненным оптимизмом и работоспособностью не менее, чем она была поражена нами.

А на следующий день я решил отправиться на поиски работы. Сказать, что это было совершено в полном разуме, я сегодня уже не берусь. Много позже я пришёл к выводу, что голод травмировал нас тогда не только чисто физически, но и морально. Я смог припомнить и ряд других необъяснимых с точки зрения нормального человека поступков во времена блокады с моей стороны.

Итак, стояло морозное утро. Небо всё затянуло серыми тучами. Сыпался мелкий колючий снежок - крупа. Я спускаюсь с лестницы, вцепившись в перила обеими руками, выхожу на улицу и бреду, шатаюсь, по тропинке между снежных сугробов по заметённой мостовой. Только бы не оступиться, не подскользнуться. Если я упаду - это я знаю точно - мне самостоятельно не встать без посторонней помощи. А ведь кругом никого нет, улица пуста. Шаг за шагом я продвигаюсь в сторону Большого проспекта. Куда я иду? Сам толком не знаю. Лишь бы не сидеть в ожидании смерти. Найти бы работу. Какую? Где?

На Большом напротив Симанской стоит пустой трамвай. Чуть подалее другой. Видно, смерть настигла их в пути. Окна вдребезги разбиты, снег заносит крыши и площадки, рельсы и оборванные провода. Редкие прохожие прячут лица в платках и шарфах. Ветер метёт снежную пыль, и сквозь белесую мглу люди кажутся привидениями.

Я сворачиваю за угол, иду по Детской к Косой. Тут и совсем никого нет. Ворота какого-то завода. Окошечко в проходной. Я стучусь в него. Кто-то растворяет щёлочку.

- Рабочих не принимаете? - с трудом выговаривая слова замёрзшими губами говорю я.

- Нет, - устало звучит ответ, и окошко затворяется.

Я тащусь дальше. Нестерпимо мёрзнут руки в тёплых варежках. Есть-то как хочется! Ледяной ветер обжигает лицо. Но я иду дальше навстречу ветру с коченеющими руками, почти не чувствуя замёрзших ног. Только это уже не упорство. Нет. Это безграничное отчаяние. Я не замечаю улиц, не считаю заводских ворот и, даже перестал стучаться у окошек.

Зачем? Я больше никому не нужен.

Не знаю как, не помню когда, неведомыми мне путями очутился я вдруг на 6-й линии возле знакомого дома. Зачем и как я сюда притащился? Долго ли шёл? Давно-давно я здесь не был, не видел Наталии Фёдоровны, своих товарищей.

И вот я снова здесь, у её дома. Уже почти не думая, механически переставляя ноги, ухватившись за перила одеревенелыми руками, я медленно поднимаюсь по знакомой лестнице и стучусь в дверь.

Мрачные, словно скованные стужей лестничные пролёты. Тишина. Вымерли, что ли, все? Но нет. Чья-то шаркающая походка за дверьми, громко лязгнув замок, в дверях показалась женская фигура. Сгорбленная высохшая невысокого роста старушка вопросительно смотрит на меня. Я-то узнаю её сразу: это подруга Наталии Фёдоровны, бывшая актриса. И вдруг её лицо озаряется улыбкой:

- Роберт! - удивлённо восклицает она и, мгновенно оживившись, втягивает меня в прихожую и торопливо ведёт в комнату Наталии Фёдоровны.

И вот она сама, наша Наталия Фёдоровна. Лежит в постели, укутанная одеялами, одни скулы на лице, кажется, остались да кожа. Но всё та же приветливо улыбающаяся Наталия Фёдоровна.

- Роберт! Да ты ли это? - говорит она взволнованно. - Куда же ты исчез? Почему же ни разу больше не пришёл? Ведь ребята наши всё ещё собираются у меня. Садись ближе, рассказывай.

Она засыпает меня вопросами, и я рассказываю, рассказываю и не в силах больше сдерживать себя, плачу. Крупные слёзы текут по моим грязным закопчённым щекам. Первые настоящие слёзы за всю войну. И последние.

А Наталия Фёдоровна, сама уже на краю голодной смерти, своим участием, своим спокойным голосом и уверенными словами своею твёрдою убеждённостью в нашей скорой победе придаёт мне новые силы.

Старушка-актриса приносит чай. Меня заставляют взять и кусочек хлеба, и мне это кажется совершенно невероятным. Горячий стакан согревает окоченевшие руки, потрескавшиеся и почерневшие от постоянной топки домашней печурки, и живительное тепло разливается по всему телу. Наталия Фёдоровна рассказывает о себе, о работе в госпитале без сна и отдыха иной раз, пока голодное истощение не приковало её наконец окончательно к постели. Отнялась правая нога и рука.

Как же так? Медсестра в военном госпитале - и голодное истощение? У меня и это не укладывалось в голове. Нет, это могло случиться только с Наталией Ольденбург. Всё для людей. Только не для себя.

- Роберт, тебе надо жить. Я верю в тебя! Ты ещё много можешь сделать для общества, для других, - убеждает она меня. - Выше голову! Приходи к нам послезавтра. Ребята придут. Обязательно брата приводи. Посоветуемся. Что-нибудь вместе придумаем. Поговорим с Вилли Лимачко - он на хлебозаводе работает, может быть, устроиться можно, или куда-нибудь ещё ребята сообразят.

Словно побывав в неведомом новом мире, я ухожу домой. В дверях, провожая меня, старушка суёт мне в руку ещё кусочек хлеба, грамм семьдесят пять. Я спускаюсь с лестницы необыкновенно бодро, держа в кармане драгоценную ношу: „Унесу брату!“ - мелькает в голове. Выхожу на Большой.

Ветер разогнал тучи, и низкое зимнее солнышко ярко засветило. Ослепительно блеснул снег на холмах вдоль дороги и на крышах домов. Люди, казалось, быстрее шагали по снежным тропинкам и даже вроде теплее стало.

Как-то незаметно для себя я отщипнул крошечку от кусочка в кармане и положил её в рот. „Только маленечко“.

Случайно оказалось, что в квартире Наталии Фёдоровны чудом сохранилась кошка. Завтра мне пообещали эту кошку выкрасть у соседей. У меня уже есть опыт. Прихвачу свои снасти и приду снова. Сейчас дома расскажу - обрадуются.

Рука невзначай снова лезет в карман и, обломив крохотный кусочек, отправляет его в рот. „Ладно, половину брату, половину мне“, - пытаюсь я оправдаться перед собой.

Далеко на юго-западе раздаётся приглушённый привычный звук - словно кто-то далеко раскупорил огромную бутылку: бум! Потом свист. Ба-ах! Высоко в голубом небе, где-то ближе к Среднему проспекту, появляется маленькое белое облачко, будто ваты комочек зависает в воздухе. И потом снова глухо: бум! Вью-ить! Ба-ах! Новое облачко левее первого. Опять шрапнелью бьют, гады!

Когда я наконец доплёлся до дому, в кармане было пусто...

Кошку я забрал на другой день. Половину отнёс родителям.

А на следующий вечер у Наталии Фёдоровны был уже не только я. Собралось нас человек шесть. Только брата своего я уже не мог привести: он с постели-то почти не вставал. До уборной кое-как по стенкам добирался.

И вот эта почти умирающая от истощения мужественная женщина, имела в себе столько сил и воли, чтобы руководить нами, нашими умами, чтобы уберечь нас от морального краха, чтобы не дать нам пасть духом.

Она рассказывала нам о своей работе в госпитале, о героях-защитниках Ленинграда. Гневом наполнялись её слова, когда она говорила о разрушенном Днепрогэсе, о сожжённых городах, о нашем красавце Петергофе, и неколебимой уверенностью в правоте нашего дела, нашей победе была полна её пламенная речь.

А мы слушали и верили ей. Верили этой умной, проницательной убеждённой женщине, парализованной голодом и уже не вставшей больше с постели.

Товарищи мои взяли ключи от сарая и пошли наколоть и притащить дров. Когда я хотел пойти за ними, Наталия Фёдоровна остановила меня:

- Роберт, не ходи. Они без тебя справятся. Посиди пока со мной, - решительно заявила она. И я остался.

Это была наша последняя встреча.

На работу я никуда не устроился, и не могли мне в этом помочь мои товарищи. И Вилли Лимачко на хлебозавод никого никогда не устраивал и не мог этого сделать. И всё это прекрасно знала и понимала наша замечательная руководительница. Так же, как не мог меня спасти от голода кусочек хлеба, который старушки отрезали от своего пайка. Но Наталия Фёдоровна подняла во мне дух. Она заставила меня понять, что ещё не всё кончено, что надо бороться, верить. А ведь это было тогда так важно для нас!

Заходил я ещё в конце декабря раза два к Мусе Ребровой по её приглашению. Угощала она меня чаем с лепёшками - отец её где-то достал целый мешок овса, что ли. По тем временам такое угощение было неслыханно, и потому мне врезалось в память на всю жизнь.

Очевидно, в конце января, наши кружковцы увезли Наталию Фёдоровну Ольденбург на саночках в ту же больницу, где лежал я. Чужие дети, ставшие ей такими близкими. Чужие дети, которым она посвятила всю свою жизнь до самого последнего дня.

Но как оказалось позже, умерла Наталия Фёдоровна всё-таки не в больнице. Муся Реброва упростила родителей взять её к себе. У них она и умерла... Было слишком поздно - овсяные лепёшки помочь не могли...

Свою великолепную театральную библиотеку Наталия Фёдоровна завещала Мусе. Только никто этой библиотеки никуда перевезти не смог - не было элементарных сил. Так и погибла библиотека в квартире своей хозяйки...

А Наталия Фёдоровна Ольденбург - руководительница нашего кружка - похоронена где-то в массовых могилах с блокадниками. И выслать её не успели, „эвакуировать“ по национальному признаку, как и моих родителей - немку проклятую...

Комментарии:

Почти полностью публиковалось в московской немецкой газете „Нойес Лебен“ („Новая жизнь“) на немецком языке в апреле 1988 г., позже в этот текст были внесены некоторые дополнения.